

КАЛИНИНГРАДСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА "93 IN 39"
КЛУБ ПОЭЗИИ И АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "АДЕЛАИДА"
И БРАТСТВО ПО ВОДЕ (АЛЬТЕРЫ ЛАЛАНГАМЕНЫ)

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

А

В

Д

Ж

И

Р

А

М

Е

И

А

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й

А Л Ь М А Н А Х

Ш А Р О Д А З В Е З Д Ы

ВЫП. 20. ЕВГЕНИЙ САКЕ

ЕВГЕНИЯ ЧУГРЕЕВА

ЕКАТЕРИНА ХРОМОВА

ЕЛЪ



Литературный альманах Народа Звезды

ДАДАНГАМЕНА

Вып. 20.

*Антология материалов 2002-2006 года
с корректурой и добавлениями.*

*Копирование и распространение всего журнала и его отдельных материалов
разрешено и приветствуется при условии ссылки на автора материала
и указания электронного адреса журнала (<http://apokrif93.a-z-o-t.com>).*

Сopyright:

- © Клуб поэзии и авторской песни
«Аделаида», 2002-2006;
- © Братство по Воде, 2002-2006;
- © Калининградская рабочая группа
«93 in 39», 2012;

а также авторы журнала:

Евгений Саке
Евгения Чугреева
Екатерина Хромова
Ель

Чуда
(рисунок на обложке)

Редактор, корректор, верстальщик:
Fr. Nyarlathotep Otis.
236000 Калининград,
ул. Нарвская 17, 11.
<http://alther.narod.ru>
<http://apokrif93.a-z-o-t.com>
E-mail: 93in39@gmail.com

Бреннъ Къне

Esc

без всхлипов, без стонов, без вздохов
разорвал хлипкие липкие нити и перепонки
оторвал себя от жизни
желаний, исканий
в свободный полёт прыгнул
летит в потёмках среди мельканий
самолётных огней, быстротечных рассветов
обрывков стихов смертоносных поэтов
разрезая телом воздух
закрывая, открывая глаза
просто ушёл за
ощущения, смыслы, понимания
мысли, слова, звуки и лица
сделал шаг за пустыню отчаяния
и полетел
теперь не остановиться
солнце радужной оболочкой
вселенная в зрачках, зрачки во вселенных
пальцы вырвались из плена
прикосновений к телу
свободны от тактильных взрывов
нервы освободились от срывов
вырвался в невостребованную бесконечность человеческого счастья.

* * *

вверх смотрели
говори́ли: «конец»
выдыхали
спокойно
«конец» — это значит
удовлетворённость
уже нечего бояться
уже ничего не важно
можно надеть фиолетовые очки
взяться за руки
целоваться
зная, что это —
в последний раз
навсегда
что бы ни говорили
смерть —
это конец чего-то
навсегда

В вечерних сумерках

В вечерних сумерках,
наполненных тревожным ожиданием ночи,
мы родились с тобой —
 два обрывка тумана,
терзаемые порывами ветра,
 пляшущие между влажными
 стволами осин —
 белёные лоскутья безнадёжной жизни.
Мы пугаем плачущие листья,
 мы беззвучны.

* * *

Вырви этот лист,
скомкай, в карман положи,
спустишь вниз,
спрячься за стеллажи
и там разорви его
так, чтоб не собрать потом,
так, чтоб не видел никто.

В этот день

в этот день разбились все дороги
в этот день мой голос стал пустым
по разбитым дорогам несут меня ноги
отдавая коленную дрожь мостовым
я курю на ходу, задыхаясь от дыма
а под сердцем стучит сумасшедшая белка
я помню, как
твой окурок в мёртвом снегу
болезненно стынет
и разорвано дёргается секундная стрелка:
нервничает...

Забывтый лебедь

Забывтый лебедь
проснулся,
вытер с пальцев глину,
не долепив очередную маску своих снов,
снял фартук,
почесал чесалкой спину
и вышел на дорогу,
растаптывая торф.
Он шёл вперёд,
и Боги Дорожной Пыли
стонали, плакали, боялись, умоляли.
А он всё шёл, наматывая мили.

Катитесь

Катитесь! Катитесь!

Уж близок рассвет.

На ветках деревьев

рождаются звуки

взошедшего дня.

Отдам на поруки

трясущийся дух. Меня

обнимет надежда,

а проклятый стыд

забудет дорогу

к мостам нашей веры.

Катитесь! Катитесь!

любя ненавидеть способны

Ложись спать

родная, ложись спать —
я не буду мешать,
я лягу рядом и буду смотреть на твой приоткрытый рот,
в твои закрытые глаза,
пытаться заглянуть за
них, класть руку на твой очаровательный живот,
слушать вздохи твои,
ловить твои сны в них,
улыбаться твоим сонным кошачьим ворочаньям,
переплетать в пальцах твои волосы,
улыбаться, не подавая голоса,
знаешь, всё оттого, что я люблю тебя очень.

родная, ложись спать —
я не буду мешать,
я лягу рядом, я тебя обниму,
я поцелую тебя, я закрою глаза,
я усну и добуду луну
для тебя.

Моя печальная королева

моя печальная королева

в старом, никому не нужном маяке

листья перебираешь

свет зажигаешь

думаешь о своём рыбаке

стихи пишешь справа налево

на подоконник волосы кладёшь

пыль со стекла оконного подвинула

смотришь на море

шепчешь: скоро

блюдечко на пол скинула

на левой груди трогаешь брошь

ночи тут нет — один только вечер

ветер стены греет

смотришь на небо

где бы он не был

он в тебя верит

Моя полуслепая душа

полуслепая душа надевает контактные линзы
и пишет поэмы без рифмы и такта
бродит по пустыням и садам
глупо щурится на лепестки
цветы самодовольные
пчёлы умирают от смертной тоски
неужели нельзя писать о чём-нибудь другом?
отбивает нападки понурости
просит у создателя мудрости
покупает на вес чувства
у усатого продавца
с непослушными чёрными локонами
спьяну писает на деревья
украшает бордели иконами
из чувств выбирает самые интересные —
вроде совести или хамства
изнывает от невысказанной нежности
а потом разбивает небо
на замечательные осколочки изумрудов
других не признаёт
считает пошлыми
дурь курит, мерзавка
спирт пьёт
вообще занимается чёрт-те чем
совсем от рук отбилась

На дне задумчивой воды

На дне задумчивой воды
тонула гарь моих вопросов.
А кости — детская игра.
Рулетка с пулей — путь забвенья.

Мне лампа светит до утра,
являя в мир ловушку снов.
На дне запившейся поры
тот мир попал в объятия тленья.

Купая дни в одежды лет,
мы забываем о просчётах,
и закипает соль во тьме,
и забываются дороги.

Как будто волосы и свет
летают в золотистых сотах,
и ясных поцелуев снег
способен залечить нам ноги.

Исчезли смыслы — вязь грехов.
Истёрлись сумерки и крылья.
Монетка капает на дно.
Я со стола питаюсь пылью.

Пытаюсь пылью стать.
Лежать и ждать, чтобы слизнули.
Монеты солнц спокойно трать.
Монеты лун давно тонули.

Я на плоту забытых губ.
Умерших поцелуев листья
всё падают на скользкий труп
художника со старой кистью.

А вдаль уходят точки птиц.
Мы снова пьём отраву вин.
Над горизонтом реет солнце.
Но ночью я опять один.

Я думаю — это не сложно.
Во мне текут потоки слов,
пульсируют под тонкой кожей,
ласкают ангельскую кровь.

Победы нет, мы все истлеем.
Беги на берег: там — любовь.
Наш Бог размытый руки греет
о синий жар таких костров.

Приход смерти

№ 1

А в окно стучит Смерть,
одинокая так же, как я.
Что, старуха, устала?
Или снова, как бог наш, пьяна?
Посиди, покури.
Помолчим, поглядим по углам.
А погода — дожди,
мокрый ветер и чёртов туман.
Что сказать, если ты не приемлешь слова?
Я сейчас разогрею портвейн
и поставлю стаканы на угол стола,
поплотнее прикрою помятую дверь.
Так пройдёт эта ночь.
Ты, озябшая, тянешь вино.
На стене стрелки муторно тикают прочь,
и бутылка показывает дно.

Я под утро усну,
положив на ладонь лишь остатки себя.
Ты уйдёшь, погоняя косою тоску,
одинокая так же, как я.

№ 2

Завтра, ровно в восемь, ко мне придёт смерть.
Я скажу ей: «Привет!
Как мило с твоей стороны
быть пунктуальной!»
Я скажу ей: «Привет!» —
и нежно обниму за талию.
Она поставит в угол косу
и ловко скинет бронежилет.
Я скажу ей: «Привет!
Может, пройдем в спальню?»
И посмотрю на её курносую рожу.
Она сядет рядом,
весело потряхнёт пушистыми волосами
и поскребёт ноготками мою кожу.
У неё ангельски пустые глаза,
ничего не выражающие,
что так кстати.

Но:
в них однажды появилась слеза.
Мы тогда лежали в кровати.
Я молчал и курил, а она...
она просто лежала.
Она, наверно, думала о цветущей сирени,
или вспоминала пожары.
А потом было слово,
а может, слова.
Это было жестоко с моей стороны.
Я сказал ей: «Привет!
Ты просто старая сука!
Алле! Когда ты сдохнешь —
всем будет до пизды!»
Она молчала и курила,
а я — я просто лежал.
Мне было плохо,
ей теперь было ещё хуже.
Потом она чмокнула в щёку,
сказала: «Привет!» — и ушла,
оставив бронежилет на полу
в липкой подсыхающей луже.
Завтра, ровно в восемь, Смерть моя придёт
и теперь уже точно останется.
У меня есть ночь на последний полёт
в любимом жёлтом в розовый горошек
платице.

* * *

Свет пришёл через многие тысячи
беспросветных миль.
Свет нёс с собой слова,
называя ими мысли —
на каждую навесил по слову,
написав его на табличках,
с которых ещё осыпалась древесная пыль.

* * *

сегодня всего было слишком много
ты целуешь мои кровавые пальцы
ты стаскиваешь с меня бело-красную тогу
мои глаза не могут найти твои
мои глаза пугаются
город расплющен, город раздавлен
нашей пятою
пятою принявших слишком много богов
ладони липкие скользят по телу двенадцатиэтажки
скользят по твоему телу, не оставляя следов
последний приход был лишним
последний приход убил нас до конца
ты поймала мой взгляд, ты ложишься на спину
ты не можешь вспомнить моего лица
а когда всё пройдёт, нам останется боль
и шаги по карнизу, не смотри в высоту
не смотри на неё и не слушай того
что шептал ангелочек в рубахе с гитарой
ловящий мечту
ударяющую нас по зубам

Смыслоотсутствие

(читается с любого места по кругу, пока не надоест)

бродящих женщин
и богинь с разорванным нижним бельём
страшными героиновыми глазами
полосканием ртов минералкой
поголовной никотиновой зависимостью
хлёстких пощёчин
герой поднялся
выходит на асфальтово-бетонное пространство
богинь не тронет
а женщинам подарит их заслуженные пятнадцать минут
за то, что его никто не ждал
закат пришёл и удалился
всё это уже было
восемь миллионов шестьдесят четыре тысячи ударов моего сердца назад
пошлая ретроспектива
огрызки карандашей и яблок
дымовая завеса головной боли
осознай: восемь миллионов мгновений моей жизни
лучших
незаслуженно
теперь вода уходит постепенно
забывая сны и битвы
рискую взглянуть исподлобья
в пальцах она всё так же не любит ногти
особенно обгрызанные зубами
покинутая любим, кто не боялся приблизиться на расстояние удара
всегда били и обязательно по лицу
обдирая костяшки и запястья
и голосом, которого тошнит от всего, включая собственное звучание
говорила обида и злость и рассыпчатая картошка откровений
которые нужно ещё услышать, просмотреть через сплетённые ветки
ресниц и бормотаний
стука пишущей машинки — свинского изобретения тех, кому страшно
смотреть на то, что сотворили твои пальцы с обгрызанными ногтями
с бумагой, всегда готовой отдаться
немой и податливой — люби или изнасилуй, она промолчит
оставит на теле своём твои немые ожоги
мне нравится разговаривать с ней, как с другом
всё поймёт и непременно с полуслова
помолчит печально — знает, что разорву за любое ответное действие
шлюха с комплексом альтруизма
раздвигает ноги для всех, кто возьмёт в руки карандаш, перо
или шариковую ручку

уйду и снова вернусь
острые, похожие на иголки или рыбы кости зубы
легко справляются со своим предназначением быть полезными по ночам
в свете настольной лампы
ой, как всё это замечательно убивается одним словом
содержащим правду ровно настолько, насколько и все остальные
болезненные, родименькие, припечатанные стальными штампами прямо на
дерево, которое когда-то было живое и питалось углекислым газом
и стихотворными строчками после полуночи
не осознавая холода талой воды, камней, серого неба, зимнего песка
и моря, шумящего всё так же задушевно и смертоносно
будто у нас есть хоть какой-нибудь выбор
но скоро придёт время
устало ляжет на камни
замрёт, ощущая равнодушие под своим телом
земле наплевать, что ты сейчас подохнешь у неё на груди и за что
твоя кровь её украшала
камни холодны как звуки
продрогших насквозь стальных струн
или уставших стальных больничных каталок
безногие обивают пороги смерти
выжившие усмиряют проигравших
а победители торгуются с победой
постепенно обнаруживая ненужность, оценивая грандиозность насмешки
прошлого, настоящего и будущего нет — поверь
и его не станет на самом деле
на ступнях и ладонях грязь
а думали, что трогают что-то особенное
специальное
и как достояние: высохшие заживо страницы и чувства
вырванные с корнем дерева и лица
пунктиром от абзаца к абзацу соляные столбы
разговоры, не имеющие цели, смысла и желания
победы, не имеющие места быть, как и права на существование
чем я занимаюсь? какой в этом толк? кому это нужно? в чём смысл?
когда-то он был нужен, и я искал его, и это было похоже на оправдания
теперь во рту привкус пустоты
и снова про строчки: их надо выстроить в одну длинную линию
они должны быть как можно длиннее
чтобы сложнее было уследить за словами
чтобы потеряться в буквах
демоны первого этажа посылают открытки и кусочки окровавленной
печатной плоти от одного библиографа к другому
мы так плохо знаем друг друга, что плачем по ночам от обид
и уверенности в том, что скоро умрём и снова расстанемся
а мне и сейчас очень плохо

так что лучше я уйду в бесконечность нанизанных слов
пальцы сплетают карты узоров на всё той же бумаге
за ними спрятаны люди, убивающие нас одним своим видом
кирпичные осколки, о которые мы спотыкаемся
друзья со своими вечными пивом и смехом
книги, ждущие, что их прочтут, и не понимающие
насколько они скучны и ненужны
сигареты, которые кончаются, которые взяли нас в добровольное рабство
часы, утверждающие, что нам пора вставать и идти
пицца, без которой мы становимся худыми и вялыми
алкоголь, обманывающий наше мироощущение
секс, без которого мы становимся невозможны
сон, покоряющий наше желание увидеть ещё больше
знания, отрывочные и бестолковые, как будто бывают другие
белые листы вызывают чувство глупости и недееспособности
тетради исписаны не с той стороны
бардак, называемый творческим беспорядком
записи звуковых вариаций на тему гениальности и способности потрясти
инструменты щипковые, называющиеся музыкальными,
до сих пор не пойму что это такое, хотя, может, так и должно быть
желание уничтожить вселенную
и создать свою, поинтересней и не такую сволочную
ох, мы малы и нелепы
играемся со знаками препинания
ведь на вопрос должен быть ответ
естественно, его нет
нельзя так долго безнаказанно в него плевать,
а потом ещё рассчитывать на ответные действия —
жизнь не баловала и раньше, чего ради решил, что начнёт?
воздух в комнате трогательно дышит прокуренными лёгкими и икает
улетающим взглядом. точка. точка. точка. точка. точка.точка.точка.
точка.точка. точка. точка.точка.точка.точка.точка.точка.чка.точка..
а боги бродят по брусчатке, оставляя следы сбитыми ступнями
следы похожи на наши лица, они так же редко используют улыбку
боги спешат к пьедесталу, боги становятся на колени и закрывают глаза
ладонями в заскорузлой корочке крови и волшебнo-фонарных иллюзий
о, эти иллюзии
они живут в пепельной пустыне, откуда пришли наши боги
они живут в пустыне отчаяния,
они не дошли до счастья и остались там жить
боги приходят за ними, забирают и приносят к пьедесталу
замурованные, в котором их ждём мы и тихонечко плачем
или смеёмся, что, собственно, не важно,
потому что никто бы не захотел узнать точно
небо исполосовано сталью будёновской пашки
которая не может называться холодным оружием

в силу многих определяющих параметров
оно умирает
что-то, похожее на морскую капусту
первой свежести
забивает ему рот
ни вздохнуть
ни прошептать
последние слова разъяснений и слёзного прости за столь подлую подставу
от которой некоторые ещё способны убежать, но большинство — нет
так как не знают, что такое любить.
им знакомо это слово из словарей и латиноамериканских телесериалов
полных слёз и фальшивых эмоций
а те, кто умеет обнимать и целовать в шею
помалкивают из вредности или нежелания выставлять себя на посмешище
никто ж не поверит, что всё так просто
у нас тут ничего никогда не было простым в силу своей многогранности
как человеческая природа
или система взаимопроникающих извращений
называемая людским обществом
у нас есть куча монументальных достижений
вроде автомашин и полигонов, коммунальных вселенных и полос асфальта
составляющих нечто под названием город
полный чисел и замысловатых историй
полный углекислого газа, страха
мы так любим давать имена
чтобы знать, что это, и не бояться
полный бессонницы, пыли, которую глотаешь
ночных окон, звона бутылок
здесь живут

Теперь уже поздно

теперь уже поздно
теперь уже поздно
мы вышли из дома
нас сбила машина
всё это серьёзно
нам некуда деться
асфальт и резина
колышет деревья
расслабленный ветер
а нас раздавило
следы на паркете
от мокрых ботинок
вот всё, что осталось
но и они сохнут
теперь уже поздно
теперь уже поздно
нам некуда деться
нам даже не взяться
друг друга за руки
смотри же на небо
асфальт и резина
будь прокляты эти
следы на паркете
я вижу деревья
и синее небо
я вижу машину
асфальт и резину
но где же ты, где ты?!
разломаны руки
и рёбра не дышат
о боже, как больно
никто не услышит
как я скажу: где ты?!
как я скажу: где?!
теперь уже поздно
теперь уже поздно
так много сказать
не успел я тебе
снега Атлантиды
уходят под воду
в синюю воду
колышут деревья
и порваны нити
я чёрное солнце

я чёрное небо
я чёрный асфальт
я чёрная ночь проглотила

.....

и вот ты уходишь
под воду уходишь
тебя не догонишь
тебя не догонишь
и огненный ветер
железные волны
в оранжевом свете
как будто бы стонут
и мне лишь осталось
дышать сигаретой
в оранжевом свете
и улыбаться —
мир меня больше не видит
жаль ты уходишь так скоро

Ты

Что возьмём мы на память о жизни, скажи?
Ты видишь, насколько ужасны наших слов коллажи?
Ты видишь, насколько убоги печатные строчки?
Я порву и сожгу их, хочешь?
Без тебя я был грязным кирпичным двором, мусоркой и песенкой Цоя.
Знаешь, я люблю курить и смотреть на море.
Мы идём босиком по асфальту.
Он колет нам ноги и говорит: «Хватит!»
По-моему, мы можем жить лишь вдвоём.
Друзья считают нас странными — давай их убьём.
Мы — дети-ублюдки и останемся ими.
А цвет твоих глаз всё такой же пепельно-синий,
и руки всё так же тревожны и немного боятся.
Время утопло в дешёвеньком пиве.
Нас нужно отснять в кинокартине.
Я буду солдатом на противопехотной мине,
а ты... ты... ты...

Ты гуляешь по весне

Ты гуляешь по весне
с бриллиантовой брошью в левом глазу.
Он всегда спешит к тебе,
попирая разделительную полосу.

Мне нет смысла видеть дальше этот сон.
Я проснусь и выгляну в окно.
Там, внизу, растягивая стон,
ты стоишь и смотришь на него.

Ты гуляла по весне,
наблюдая лишь одни алмазные дни.
Он всегда спешил к тебе
через городские боевые огни.

Во мне нет ни радости, ни зла.
Я смотрю в окно и вижу смерть.
Он сидит, раздавлен о панель.
Ты пускаешь кровь в воде себе.

па-па-ра-па-па, па-па...

* * *

Ты знаешь:

с рассветом замёрзшего дня

ты встанешь с постели,

ты выпьешь свой кофе,

и буден

обычной рутинной

начнёт свой отсчёт.

Проснись!

Открой глаза!

Опомнись!

Да очнись же!!

Неужто ты хочешь погибнуть

нелепо, бездарно

в один из таких

обычайших дней?!

А она проходит.

Тикает вдаль время.

Ты его не поймаешь

даже у кромки горизонта...

Ты умеешь плакать

ты умеешь плакать —
ты скоро умрёшь.
у меня трясутся руки.
этим летом такой дождливый август.
я говорю: мы никогда не умрём.
ты киваешь головой, но ты врёшь —
твой взгляд задумчив и пуст.
моя любовь, мне страшно.
приласкай меня.
мне необходимо чувствовать тебя рядом.
на улице темно, на улице вечер переходит в ночь,
а это — кошмар расставаний,
маленький ад автобусной остановки,
маленький ад лестничной клетки,
маленькая смерть.
скажи, почему мы так слабы?
я один и курю.
и шляха в зелёном платье семенит рядом.
шляха говорит, что ты сильнее,
шляха кормит меня белым шоколадом.
напрасно я гоню её прочь,
путешествую по своим венам:
она уйдёт лишь тогда,
когда её сменит одинокая ночь.
и снова холодная кровать
с блуждающим взглядом по стенам.
обними меня, скорее,
пока у нас ещё есть время,
пока белый шоколад не забивает мне рот,
пока на тёмную бутылку пива ещё не капает слеза,
пока бело-зелёная тварь
с красным клеймом «105» на лбу
ещё в пути,
ещё далеко.
у нас есть время,
но оно — большая сволочь,
оно не остановится, как ни умолай.
любимая,
это всего лишь
очередное небольшое расставание.
их уже было сотни.
почему же я умираю?

Ха!

Ха! Попробуй обнять меня!
Сладкие слёзы ползут по стеклу.
Душа отрастила хвост и куда-то уплыла.
Я смотрю вверх и плюю на звёзды и луну.
Звёзды нелепо взрываются,
а луна, похоже, уже давно умерла.
Слушай, я заметил:
в последнее время мы смеёмся, как боги.
Как это пошло — юные боги!
Слушай, давай чего-нибудь сломаем
и будем танцевать на руинах,
надев бело-красные тоги.
Сплетём венки из колючей проволоки.
На площади Победы устроим отхожее место.
Поставим оранжевые вигвамы на крыше Дома Советов.
И украсим Мать-Родину алюминиевым крестом.
Наверно, я просто устал.
Устал от чего? Смущённо улыбаюсь.
Я хочу изменить всё.
Всё сломать, всё разрушить, всех убить,
или исчезнуть.
Этот мир меня отчего-то не воодушевляет.
Будем искать другой.

Чёрный мир маленьких принцесс

покрой её руки поцелуями, слезами, кровью, саваном.
губы холодные, в губах уксус.
по коже песком царапает небо сухой алкоголь.
кожа исходит колючим сном,
камуфляжным кошмаром невыпитых сердец.
и нам пиздец.
слишком много слов, уродствующих мир.
слишком много строф с другой стороны.
ты спишь, ты вздыхаешь во сне.
через вены течёт колючая проволока,
течёт колючая проволока
через вены ко мне.
сальные волосы, бумажно-чернильный ад.
мы ещё не начали жить,
но уже слизали всю пыль перед дверями огня.
обними
меня.
опять.
мы будем спать?
или закинемся и снова в бой?
довольна ли ты
собой?
для маленького принца мир был чёрным чёрным чёрным.
это мне по секрету сказала книжная обложка.
она знает, она с ним спала.
говорит, он нежно покусывал её.

* * *

я валялся голый на крыше
наблюдая орнамент ветров
мир трещал по швам
неба днище
покрывалось узорами трещин и строф
я так долго этого ждал
я жалел о вчера
я желал быть вчера
я смотрел в глаза
я бессовестно врал
я говорил
что всё это
игра
но ты видишь
чем она кончилась
мы хотели это и мы это взяли
молчи
некоторые вещи нужно встречать молча
некоторые вещи хотят
чтобы мы молчали
мы так долго этого ждали
мир ломается
мир рушится
время и смерть потеряли силу
осколки летают
осколки танцуют и кружатся

* * *

Я смотрю, как дышит секундная стрелка.
В колесе истошно кричит сумасшедшая белка.
Я закрываю глаза. Веки посыпаны пеплом.
Я усну и увижу во сне землю и небо.
В безобразном огне городов прячутся звёзды.
Я хотел бы уйти, но, наверно, теперь уже поздно.
Это мёртвый конец. Смерть выходит на сцену.
Два пути: развернуться или врезаться в стену.
Впрочем, можно присесть, покурить и подумать.
Очень хочется жить, но на это придётся мне плюнуть.
Огнедышащий лёд в этих серых глазах.
Люди видят свой собственный прятанный страх.
И хотят убивать.
Так как совсем не хотят умирать.
Я плевал на солнце, на небо, на землю, на воду и даже на звёзды.
Я хотел бы уйти, но, наверно, теперь уже поздно.
В мире этом я не нашёл себе место.
Но мне остаётся быть и месить своё серое тесто.
Ночь, и ты пляшешь на телеэкране.
Чёрное платье несёт твои чёрные раны.
Это время для сна. Я хотел бы проспать очень долго.
И проснуться другим. Там, где белые волки
и вкус красной крови знает всякий, кто жив.
Смерть отпустит тебя, лишь убив,
жизнь пребудет с тобой, лишь убив.

Ворон

Ворон летел.

Мерными, уверенными взмахами крыльев рассекал воздух: вверх-вниз, вверх-вниз. Он был молод и силен и был рад своей молодости и силе, своим широким, чёрным крыльям. Он летел, с удовольствием поднимая и опуская их, наслаждаясь слаженным ритмом полёта: вверх-вниз, вверх-вниз.

Ворон летел.

Он летел сквозь ночь и день, рассвет и закат, грозные тучи и голубое небо. Летел, оставляя позади рассечённые мерными и уверенными взмахами крыльев пространство и время. А внизу проплывала земля.

Иногда там, внизу, на земле, виднелись маленькие люди. Они плакали над своими растерзанными братьями. Ворон с интересом кружил над ними, чёрной тенью ложась на их скорбные лица. Тогда люди бранились и грозили, и кидали в птицу камни. Но он поднимался выше, нежась в ласковых восходящих потоках воздуха, смеясь над глупцами.

Ворон летел.

Чёрные, как ночь, как смола перья стали ещё чернее. Настолько чернее, что, не выдержав этой черноты, пробились по краям белёсой каймой.

И снова внизу виднелись люди. Они бродили по гудам мёртвых и горам металла, о чём-то говорили. И снова он тёмной тенью ложился на их головы: солнце мигало чёрным крылом. Люди смотрели на него и пускали стрелы ввысь, не давая птице кружить, наблюдать, отдыхать. Стрелы выбивали гордые перья из крыльев и хвоста ворона, и он поднимался выше — туда, где стрелы теряли силы. Поднимался и ненавидел людей.

Ворон летел.

Мерные взмахи крыльев стали тяжкими: вверх... вниз... вверх... вниз... Сила и молодость ушли в бесконечный полёт. Мышцы начинали стонать и ничему не радовались. Старческая усталость закрадывалась в слаженный ритм работы. Перьям становилось невозможно оставаться иссиня-чёрными...

И так же на земле виднелись люди. Ворон кружил над ними, смотрел и думал, насколько они изменились. А они показывали на него пальцами, смеялись. Потом стреляли из ружей. Огоньки вспыхивали далеко внизу, возле улыбающихся ртов, и обжигали крылья, лапы, грудь. Горели внутри, заседали в теле пульсирующей болью, комками страданий, не давали взмахнуть крылом, последний раз взмахнуть — ведь это так важно! И нет сил лететь. Он приземлился на холодную, острую скалу.

Ворон приземлился.

И сел на камни, подобрав растерзанные, прекрасные крылья, плача и жалея.

Арик

Арик Архангельский пил водку вторую неделю.

И ему насрать, что вы думаете по этому поводу.

Лучше слушайте.

На одиннадцатый день истощённый мозг начал забрасывать Арика галлюцинациями. Ему просто ничего другого не оставалось...

Всё началось с душеспасительных бесед с гитарными струнами.

— Арик! Арик! — говорили струны. — Что же ты делаешь! Ведь это же, ведь так же нельзя совсем, Арик!

— ...! — отвечал Арик.

— Арик! Арик! — укоряли струны. — Подумай о своей маме: она бы умерла, услышав это!

— Она преспокойно умерла, и не слышав этого.

— Арик! Арик! Посмотри, до чего ты допился: родную мать тебе не жалко!

— Неправда. Мне просто жалко жалеть её при вас.

— Арик! Арик! Но мы же твои друзья!

— ...! — нашёлся Арик.

— ..., ...! — добавил появившийся неизвестно откуда домовый по кличке Никанор Иванович.

Гитарные струны задумались и промолчали.

— Ишь ты, — сказал Арик домовому.

— А ты как думал? — кивнул головой Никанор Иванович. — С ними, блядьми, только так и можно.

— Молчать!!! — заорал сидевший на левом плече Арика крылатый милитарист. — Молчать, сукин сын!

Никанор Иванович усмехнулся и плюнул в него. Крылатый милитарист пискнул и потух.

Арик с недоверием посмотрел на Никанора Ивановича. Всё это становилось странным.

— Эй, ты... — но Никанор Иванович ловко харкнул сам себе в рожу и потух без объяснений.

— Дела... — протянула Мохнатая Гусеница.

— Пошла вон... — Арик попытался её раздавить.

Гусеница спокойно отползла в сторону.

— Дела... — протянула Гусеница из сторонки.

— Пшла вон... — бормотал Арик и пытался её раздавить.

— Да, дела... — протяжно говорила Гусеница и спокойно отползала.

Гитарные струны начали нервно хихикать.

Они знали что-то такое, но явно не собирались этим делиться, считая, что имеют на то права и веских аргументов.

Арик перестал пытаться раздавить Гусеницу, тяжело вздохнул и не смог задуматься. Мысли тихо отползали от его пьяного мозга и протяжно говорили «да... дела...» из тёмных уголков.

Арик решил, что пора бы со всем этим кончать, и выпрыгнул в окно.

Через два этажа свободного полёта Земля приняла его брненное тело и милостиво позволила сознанию отключиться.

В реанимации было тоскливо.

Ещё там были тёмные коридоры, холодные стальные кровати-каталки, сонные и озлобленные врачи, непонятные приборы, ослепительный операционный свет, такой же холодный, как стальные кровати.

Но Арик всего этого не видел.

Как я уже говорил, сознание милостиво его покинуло.

Спокойной ночи, Арик!

— Ни хуя себе... — сказал анестезиолог, посмотрев результаты анализа крови на алкоголь.

— Ни хуя себе... — сказал Арик, обретя вновь способность мыслить.

В некотором роде, он родился второй раз.

— Да, приятель, в некотором роде медицина тебя поимела, — сказал ему хирург.

Отделение травматологии Калининградской областной больницы располагается на пятом этаже.

На то, чтобы выпрыгнуть из окна палаты у Арика не хватало ни сил, ни смелости, ни желания.

— Дебил, — говорил себе Арик. — Идиот. Тяжело было заглотнуть две пачки аспирина, лежащие на полочке аптечки в ванной. Надо было широким жестом сигануть со второго этажа, да ещё пьяным. Кретин. Можно было тихо, спокойно и незаметно сдохнуть в своей квартире, сидя на полу и прислонившись спиной к стене. Над тобой насмеются даже практиканты. Тупица.

— Что? — спросил дедок с переломанными ногами на соседней койке.

Дедка звали Фёдор Николаевич. Сосеновский Фёдор Николаевич, 1939 года рождения. В прошлую пятницу он полез чинить крышу своего двухэтажного дома в селении Зайцево, под Правдинском, и шлёпнулся на бетонную дорожку.

У стариков такие хрупкие кости.

Скорая ехала из Правдинска два с половиной часа. Два с половиной часа Фёдор Николаевич сидел на скамейке возле крыльца с переломанными, распухшими ногами, глушил самогон и матерился хриплым, ломаным со старости баритоном. Ох, как же ему было хуёво!

Посмотрев снимок, правдинский хирург почесал репу и отправил ошавшего от самогона и новокаина Фёдора Николаевича в Областную.

Сосед Андрюха Пацаев и сын Олег, сразу же приехавший из Калининграда, где работал, усадили старика на заднее сиденье олегова «Форда». Олег ругал сидевшую рядом с отцом мать за то, что бедная женщина с перепугу не догадалась нанять машину в Зайцево и сразу же отвезти Фёдора Николаевича в больницу.

Где-то возле Тишина действие новокаина ослабло. Фёдор Николаевич начал сначала постанывать, а потом уж и материться. На подъездах к Калининграду ему было так же хуёво, как и на скамейке перед домом, но теперь уже не было самогона.

В приёмной травматологии посмотрели направление с рентгеновским снимком, почесали репу и отправили Фёдора Николаевича на операцию.

— Что? — переспросил Фёдор Николаевич.

Арик ничего не ответил, закрыл глаза и уснул.

Ему снилась плоская голая серо-жёлтая пустыня. От одного краешка горизонта до другого — только серо-жёлтая пыль. Серо-жёлтая пыль, на которой равномерным пунктиром тянулась линия его следов. Арик бежал за солнцем. Красное солнце беспрестанно падало за линию соприкосновения пустыни и мутного неба, а Арик бежал за ним, бежал уже давно, будто бы и всегда, бежал, уже не надеясь догнать, бежал, мечтая лишь о том, чтобы не споткнуться, потому что, если споткнуться, то упадёшь, а если упадёшь, то не встанешь, а если встанешь, то всё равно будет поздно — солнце закатится, и наступит ночь. Отвратительное красное солнце.

Фёдор Николаевич посмотрел на спящего Арика, откинулся на подушку и начал вспоминать послевоенный Кёнигсберг, его руины — груды битого кирпича. Он вспоминал красноармейцев с трофейным добром, катакомбы, по которым лазил со старшим братом, вечное недоедание, забитых, а потом внезапно исчезнувших немцев. Если подумать, то тогда тоже было хуёво. Но всё же это было детство.

Арик проснулся к обеду. Получив дозу демидрола с анальгином, он снова уснул.

Проснулся, когда все уже спали — пропустил ужин. На тумбочке стояли тарелка с холодной кашей и чай. Проснулся с чувством детских слёз. Из сна почти ничего не помнил. Только то, что снова бежал, но теперь уже по трассе, смутно знакомой, похожей на дорогу в Светлогорск. На всех знаках было написано: «Блаженны все живущие, ибо имеют они смелость жить». Арик не помнил, где он видел или слышал эту фразу. Он не верил, что эта мысль могла прийти к нему. Он сильно сомневался в своей интеллектуальной состоятельности.

Через три недели хирург почесал репу, снял гипс и отправил Арика домой.

Фёдора Николаевича Арик больше не видел. Он вообще мало что увидел. Небо снова доказало, что ему насрать на наши желания.

Как и все, кто хоть немного притронулся к смерти и сумел от неё улизнуть, Арику вдруг сильно захотелось жить. Он хвалил булочки в кафе, пил холодное пиво, глупо улыбался в общественном транспорте. Он нашёл девушку — милую дурочку со второго курса филфака, осуждающую внешнюю политику США с забавным видом детской серьёзности.

Через месяц после выписки, вечером, Арик вышел из дома и направился к остановке троллейбуса. На улице было то, что калининградцы называют «штормовым предупреждением». Через пятьдесят метров от его подъезда здоровенный кусок кровельной жести сорвался с крыши и разможил Арику череп. Арик скончался на месте, не приходя в сознание.

Что было с ним дальше, мне не известно.

DAS ENDE

День

— День!!! — проорал Смотритель и резким движением поднял вверх белый рубильник.

На небе вспыхнуло солнце. Разогреваясь, оно последовательно проходило цвета от красного до белого с желтоватым оттенком. Шифт лежал на спине и наблюдал за этими метаморфозами.

Тем временем Он проснулся и пошёлёпал в ванную. Подошвы его ступней выглядели сонными и трогательно мятыми. Шифт даже улыбнулся от умиления.

Вернувшись из ванной, Он начал отжиматься. Серебряный крестик на красной верёвочке размеренно звякнул сорок раз о стекло.

Потом принялся жать пресс. Ягодицы смешно расплющились о небесный купол. Шифт смотрел на Его волосатые яйца, и мне казалось, что они указывают дорогу.

Вся дорога уложилась в девятнадцать тезисов, обоснование которым, лично для Шифта не требовалось.

Вот они:

1. Бог есть.
2. Бог не то, что мы о нём думаем.
3. Бог непознаваем.
4. Бог дал жизнь.
5. Жизнь — дар.
6. Жизнь — испытание.
7. Жизнь — подготовка к смерти.
8. Бог создал человека.
9. Гип-гип-ура человеку.
10. Бог дал смерть.
11. Смерть была.
12. Смерть есть.
13. Смерть будет.
14. Человек смертен.
15. Ты умрёшь.
16. Всегда помни.
17. Человек страдает.
18. Человек способен любить.
19. Надо быть добрым!

Увидев свою дорогу, Шифт приступил к действию. Заскрипел принтер. Шифт как одержимый рассылал по незнакомым адресам письма с девятнадцатью пунктами и припиской: «Перепишите это послание десять раз и отошлите по десяти адресам — тогда вам будет счастье».

И ему ответили тем же.

Буквально через три дня он получил письмо. В письме содержалась одна фраза: «А не пойти ли тебе на хуй, козёл?!»

— Ага! — сказал Шифт.

Он не был примером для подражания.

Он был странным человеком.

— Смерть не приходит внезапно, — говорил Шифт. — Она начинается задолго до твоего рождения. Собственно, и жизнь тоже.

Шифт не был примером для подражания, и порой его трудно было понять. Многие даже не пытались.

Шифт видел то, чего не видел никто, чего не было в реальной действительности.

Скажите Шифту: «Ты болен», — и он рассмеётся вам в лицо.

Понять Шифта было трудно потому, что он никогда ничего не объяснял. Он как будто констатировал факт.

— Мы никогда ничего не сможем изменить, — говорил Шифт, но ему никто не верил.

Они сидели на скамейке в парке и курили.

— Я не люблю читать, — сказала Лена. — По-моему, это просто глупо: эти придуманные истории о людях, которых никогда не было, о мирах, которых никогда не было, о чувствах, которых никогда не было.

«И что ты ей на это ответишь, умник?!» — спрашивал себя Шифт.

Лена была худой осветлённой блондинкой, высокой, с маленькими грудями, плоским задом, но широкими бёдрами. Она носила слабенькие для полуслеплого Шифта очки и волосы до мочек ушей. Не то чтобы они очень дружили, просто Лена, как и он, перепутала недели и приехала за полтора часа до начала лекций.

Люди неспособны понять друг друга.

— Ленка, давай поженимся и нарожаем кучу маленьких бэббитят.

Скажите Шифту: «Ты болен», — и он заплачет. Трудно смириться со своей инаковостью, особенно в детстве, особенно если ты хуже одет, у тебя дешёвый портфель и ботинки с лопнувшей подошвой. Шифт думал, что пережил это. Он думал, что он уже не робкий очкарик. На самом деле, если ты был маленьким робким очкариком — ты останешься им на всю жизнь. Достаточно встретить (случайно, на улице) своего самоуверенного, торжествующего в жизни одноклассника, чтобы убедиться.

Как Вы оцениваете своё место в окружающем мире?

- а) Один из шести миллиардов человек, обитающих на одной из планет одной из солнечных систем одной из галактик Вселенной.
- б) Человек, уважаемый на работе, дома, среди друзей, соседями.
- в) Никого, кроме меня, здесь нет. Весь мир — плод деятельности моего сознания.

Шифт выбрал бы третий вариант.

Из глубин космоса прилетают на Землю Супер-человеки — с супер-мозгами и супер-бицепсами. Их превосходство над землянами неоспоримо и угнетающе. Прилетели они издалека и изрядно поиздержались в дороге. Им нечего кушать. Они решают кушать нас. В принципе, они могли бы генерировать питательные вещества с помощью своих технологий за счёт энергозапасов корабля (пополненных, кстати, природными ресурсами Земли), но эти энергозапасы им ещё пригодятся, да и невкусно... Земляне пытались протестовать и защищаться. Относительно так же ведут себя быки на бойне. После увлекательного сафари Суперы полетели дальше. Славное человечество прекратило своё существование.

И никаких тебе великих свершений.

Вам не кажется, что мы достойны сожаления? Почему же мы его не имеем?

Вам не кажется, что мы достойны любви? Почему же мы её имеем?

Однако вернёмся к нашему барану.

В субботу, 21-го июня, ночью Шифту приснился конец света.

Было это так: с неба посыпался песок. Он сыпал и сыпал, достигая трёхметрового уровня за сутки. Все попытки уборочных работ были обречены на провал. Через неделю города исчезли. На сороковой день пескопад прекратился, но мало кто это увидел.

Всю субботу Шифт ходил довольный и нервный, с нетерпением поглядывая на небо. А вечером, по привычке просматривая старые программы телепередач, на странице про пятницу, 20 июня, обнаружил заметку «Законы Мёрфи».

По жизни надо пройти с горделивым прищуром, тем самым давая понять неведомому Великому Демургу, что его блистательная шутка дошла.

После серии экспериментов Шифт осознал, что без природной предрасположенности горделивый прищур вырождается в нечто совсем уж непотребное. Осознав, Шифт остался смущён и малодушен, начал задумываться о высшем смысле существования и прочих бреднях и читать Коэльо, но наткнулся на мысль о том, что Творец создал Вселенную в минуту непостижимой рассеянности, и читать бросил, поняв, что более путного извлечь из Коэльо уже не сможет.

В таком душевном смятении в среду вечером, 25-го числа, он пошёл на эстакадный мост плевать на проезжающие внизу машины. Так его застigli врасплох малознакомые и сомнительные личности и отвели пить водку.

Утром Шифт проснулся неизвестно где, и лежащая рядом девушка сказала:

— Привет. Меня зовут Ася. Тебе кофе или пиво?

Душевное смятение с новой силой охватило Шифта, смущение и малодушие заворожило его от пупка до пят, а верхняя часть его тела стала судорожно искать, чем бы прикрыться.

Девушка Ася умопомрачительно рассмеялась и пошла готовить пиво и кофе.

— Мы одни, — звенел по квартире её голос. — Одежда под кроватью.
— Нет её там, — глухо отозвался Шифт.
— Да и похуй, — пожалла плечами Ася и подала Шифту бутылку.
За окном сыпал мелкий первый летний снег.
Неожиданность происходящего воодушевила Шифта.
— Смерть ебёт ангелов на солнце, — сказал он, выпил пиво и удалился.
На улице летали Моррисоны и горланили что-то невероятное.

*

Такое ощущение, будто мир разваливается в твоих руках.
«Я хочу лечь и уснуть, — думала она. — Я хочу лечь, уснуть и проспать очень долго. Я хочу проспать очень долго, и проснуться другой, в другом месте, в другое время».
А ещё она думала: «Убейте меня!»
Когда мир разваливается и его осколки остаются лежать на твоих ладонях, это — довольно предсказуемое желание.
Говорят, желания бывают праведными и неправедными.
Вопрос на сообразительность: является ли желание собственной смерти праведным?
Ася Колчакова всегда была чувствительной девочкой.
Наблюдая у ребёнка необыкновенную живость ума и воображения, интеллигентные родители Аси скорбно улыбались и сильно беспокоились за судьбу дочери в этом мире.
Беспокоиться было о чём.
Жизнь — это только цепочка грустных и смешных случайностей.
Собственно, всё наше существование — просто случайность. С таким же успехом нас могло и не быть. Так что не обольщайтесь на счёт своей исключительности.
Известно, что шансы на выживание у человека на достаточно продолжительном отрезке времени несколько отличны от нуля.
В начале 2003-го Асе исполнилось девятнадцать. Она сильно удивилась.
А через два месяца мир развалился на части, и осталась только вязкая пустота и смутное желание умереть. И уже нет сил просто заплакать — хоть вены режь, но и на это сил нет. И снова пьяна — а хули толку-то? — держишь в ладонях осколки карманного зеркала, красные осколки, и слёзы на них капают, хотя минуту назад казалось, что слёз больше нет.
Сигарета как повод подумать или просто оттянуть время, сидя на полу прихожей тёмной пустой квартиры, прислонившись спиной к входной двери.
Если не умереть, так хотя бы исчезнуть.
Ты уже отошла, отлежалась. Убрала, выдраила весь дом, чтоб как стерильный, будто бы никто здесь и не живёт, и никогда не жил, будто бы никого нет.

А хули толку-то?

Время, словно небрежно скользнувшая по классной доске влажная тряпочка, затрёт и эти знаки мелом. Время, словно влажная тряпочка, небрежно затёрло из жизни эту ненужную, нелепую смерть.

Теперь Ася работала медсестрой в отделении крайне тяжелобольных. В её обязанности, помимо прочего, входило вывешивание на доску объявлений списка умерших за сутки.

Поэтому Ася много курила и проводила свободное время за распитием спиртных напитков с сомнительными личностями в сомнительных местах.

Однажды она обнаружила в газете бесплатных объявлений следующее: «Дам приют всем одиноким, неприкаянным, уставшим». Ася обрадовалась, обнадежилась и нанесла визит по указанному адресу. Однако на третьем собрании её начали убеждать в том, что отдать свою собственность общине — наиболее верное жизненное решение, а на четвёртом вообще рассказывали о вреде курения, так что она вернулась к своим беспокойным ночам.

В таком состоянии она и повстречала Шифта. Шифт был ей рад. Он-то как раз и был одиноким, неприкаянным и уставшим. И ему нужен был приют.

*

«Ангел сознательно пошёл на это. Отдав крылья грязному человеку в рваной одежде, он зашагал по улицам города. Мужчины шли ему навстречу и курили. Дамочки в красных шляпках зыркали из-под тёмных очков и почему-то облизывались. Ангел старался не улыбаться, чтобы скрыть смущение. Зайдя в антикварный магазин на улице Гимmlера, он приобрёл пистолет-автомат системы Стечкина, дополнительную обойму и коробку патронов. Расплатился золотым локоном и получасовой вознёй в чулане с грудастой продавщицей.

— Ой, миленький, осторожно, шляпка! — попискивала она.

Ангел молчал, боясь улыбнуться. В чулане было пыльно, тесно и темно. Доски равномерно поскрипывали, какая-то железяка давила в спину, а продавщица пыталась выковырять лопатки да ещё пребольно укусила за плечо.

Ангел вышел из магазина в смятении, но, почувствовав тяжесть полиэтиленового пакета с покупкой в руке, повеселел. Бабочки кокетливо кружились над его головой. Ангел пошёл в парикмахерскую.

— Шестьсот, — сказал бородатый, но лысый парикмахер. Он был тучен и сверкал золотым зубом. — Меня зовут Хуан. Я никогда не обманываю.

— Верю, — ответил Ангел и всё-таки улыбнулся.

Хуан побрызгал на бабочек дихлофосом. Бабочки попадали на пол, как сухие листья. Мальчик на побегушках резво принялся их подметать.

— Садись.

Ангел сел, и его обстригли. Получив деньги, он направился в бар. Аккуратно лавируя между писающими у стойки мужчинами, он заказал пиво и уселся за столик. К нему подседа шлюха и представилась:

— Сто пятьдесят в час.

— Нет, спасибо.

Шлюха подумала.

— Сто.

— Нет, спасибо.

— Мудак, — сказала шлюха и ушла.

Допивая отвратительное пиво, Ангел чувствовал злые взгляды на своей спине. Тогда он достал пистолет и всех перестрелял.

Вот и всё».

Шифт написал это после той ночи (события которой он так и не вспомнил, а Ася на все его вопросы безудержно и неизменно хохотала) в качестве не то любовного послания, не то попытки оправдания или извинения, а скорее всего — всё вместе.

Ася была в восторге и потребовала его стихи. Шифт отбивался, как мог, но — о! женщины! — сдал позиции, и Ася заимела на пару ночей небольшое расстраивающее психику развлечение. Вот что она написала в дневнике:

«Эти стихи...

В них так много мрака и страха...

Отчего?»

Она написала это, когда кончалась ночь и опротивели сигареты.

Ася почувствовала себя как тогда, после смерти Арика, после тех трёх суток неизвестно с кем и где, когда вернулась домой, легла спать и проснулась утром — вот как в то утро, разбитая и сонная — мрак и потерянности в душе. Да, тогда Ася чувствовала мрак и потерянности в душе. И очень хотелось к Шифту, хотелось обнять его, уснуть рядом с ним, зарыться в него и поплакать, зная, что он поймёт всё без слов.

«Эти стихи нельзя читать... нет, не так... такие стихи... нет... только такие стихи нужно читать...»

И ещё:

«В мире шесть миллиардов людей. Наверное, Творец только тем и занят, что придумывает им всем смерти. Не лучше ли облегчить ему дело?»

Однако, не всё так скверно.

Встречаясь с Шифтом, Ася с ужасом ждала двухмесячного юбилея. Когда его не было рядом, она испытала беспричинный страх. Если бы её спросили, чего она боится, Ася бы промолчала, но подумала, что боится смерти Шифта, хотя это было не так — она боялась, дико боялась просто, без причины, без оправданий, она испытывала страх.

Но ничего не случилось.

Шифт видел счастье на лице Аси и был счастлив.

Именно тогда-то на досках объявления университетов, в общественных туалетах, на витринах дурацких магазинов, на жестяных палатках, на мусорных контейнерах, на дверях супермаркетов, на таксофонах и банкоматах, на телефонных столбах и тумбах для афиш, на заламинированных и подшитых информациях для налогоплательщиков возле пунктов обмена валюты, на дверях и почтовых ящиках знакомых и совершенно незнакомых людей, в ка-

бинах лифтов, под дворниками автомобилей, на автобусных остановках по всему городу появились наклеенные скотчем или клеем «ПВА» листовки следующего содержания:

Блаженны нищие духом, ибо их будет царствие небесное.

Блаженны любящие, ибо любят они.

Блаженны верующие, ибо верят они.

Блаженны непокорные, ибо творят они.

Блаженны борющиеся,

ибо обретут себя в борьбе они и убьют себя в борьбе они.

Блаженны свободные, ибо знают они, что нет её.

Блаженны сражающиеся, ибо не будут они победителями.

Блаженны ищущие, ибо найдут они.

Блаженны все живущие, ибо имеют они смелость жить.

Досадно

Вадику Потапову было скучно.

Делать было совершенно нечего, потому что делать ничего не хотелось.

На улице с самого утра, изредка прерываясь, с неба капала какая-то морось. Повсюду было мокро, влажно. Грязные лужи в неровностях асфальта, сырые и лысеющие деревья, липкий ветер. Короче, типичная калининградская погода — начало октября. Она нагоняла хандру и сон.

Вадик с трудом встал с кровати в двенадцатом часу. Выглянул в окно, и настроение его ещё более ухудшилось. Есть не хотелось. Одеваться — тоже. Бриться, мыться и чистить зубы — тем более. Он бухнулся в кресло и включил телевизор. Однако скоро Вадик заметил, что чёртов ящик не рассеивает скуку, а скорее наоборот. От глупых, бессмысленных картинок начинало болеть голова, рассудок мутился, и на душе становилось невыразимо гадко. Даже футбол вызывал гнетущее, тошнотворное чувство.

Вадик натянул спортивные брюки и вышел на балкон покурить. Осенний, прохладный воздух его взбодрил и утешил, отогнал сонливость. Докуривая сигарету, Вадик думал, чем бы заняться.

Родители на работе — квартира свободна. Можно позвать друзей, но, во-первых, вчера сломался телефон, а во-вторых, все друзья днём в среду либо учатся, либо работают. Сам-то Вадик жил с родителями.

Конечно, была пара приятелей, которым сегодня наверняка тоже нечем заняться, однако идти к ним по такой погоде уж очень не хотелось. Да и не слишком он жаждал видеть их в своей квартире.

Вадик вернулся в свою комнату и включил магнитофон. Звуки, которые тот выдал, ему не понравились. Вадик его выключил. Ему не хотелось слушать музыку.

Вадик осмотрелся. Незастеленная кровать. «Поспать, что ли?» — мелькнуло в голове. Вадик поморщился. В углу за кроватью валялись баскетбольный и футбольный мячи. Рядом — гири и две гантели. Вадик поморщился ещё более неприязненно: мысль о физической нагрузке была ему противна. Ему не хотелось напрягаться. Книжная полка на стене, напротив кровати. Но Вадик никогда не читал. Он не любил читать книги. Справа — шкаф. На нём — гитара. Её ему подарили пять лет назад на четырнадцатилетие. Помнится, очень просил. И научился брать три аккорда. На том и бросил. Пустой письменный стол. Жаль, компьютера нет. Сейчас Вадик жалел, что продал видеоприставку.

Он вернулся в зал. Взглянул на видеокассеты на полке возле телевизора. Но пересматривать давно пересмотренные фильмы не хотелось. Переться в видеопрокат не хотелось. Для этого нужно было одеваться, причёсываться, завязывать шнурки... Этого не хотелось. Ничего не хотелось. Вадику было скучно.

На маленьком столике были разбросаны журналы. Вот этот он вчера не дочитал...

Подошёл пёс — здоровенный ротвейлер — и ткнулся мордой в колени.
— Чего тебе? Ах, да: я же тебя ещё не кормил...

В пять с работы вернулся отец. Вадик сидел перед телевизором, тупо уставившись в экран, и жевал бутерброд. Он смотрел интеллектуальную викторину.

Через час пришла мать. Вадик ушёл к себе в комнату, прихватив недочитанный журнал. Упал на постель, подумав, что скоро за ним кто-нибудь зайдёт звать на дискотеку. Он не заметил, как заснул.

Проснулся Вадик в полночь и сразу услышал, как сильно барабанит дождь по подоконнику. Мама сидела в зале, всё ещё копясь в своей бухгалтерии.

— Мам, ко мне кто-нибудь заходил?

— Да, был Вася. Они в какой-то клуб собирались...

— Чего ж ты меня не разбудила?!

— Ты так сладко спал... Кстати, погуляй, пожалуйста, с псом на ночь.

Вадик оделся, натянул поводок на ротвейлера, взял зонтик и вышел. Спускаясь вниз, на лестничном марше между четвёртым и третьим этажами он упал и свернул себе шею. Такое могло случиться с каждым: пёс дёрнулся, вялая нога подвернулась, Вадик взмахнул рукой, тщетно лоя равновесие, начал падать, ударился виском о перила и покатился вниз.

В последний момент, уже после того, как хрустнули шейные позвонки, страх отступил, и Вадик почувствовал досаду, что так бездарно провёл последний день своей жизни.

Гвенца Кореева



ZAVNILL

Ангел Смерти

Смерть приходит к нему, ясным взором глядит ему в очи,
Зверь ложится на спину, замирает, не дышит и ждёт.
Человек умирать — ведь слабее он зверя — не хочет,
Он бежит, умоляет, и плачет, и мечет, и рвёт.

Смерть подходит к нему и касается лёгким касаньем.
Человек умирает от страха. Зверь тоже умрёт.
Он не видит пришедшей — он просто утратил желанья.
Он не чувствует холод — он сам превращается в лёд.

Смерть берёт себе душу в крови и страданьях, живую.
Человек остаётся без тела, и лёгким толчком
Отправляется в светлые дали, в геенну немую,
В невесомую лодку Харона, к Богу за стол.

И свою золотую, смертоносную маску Медузы
Смерть снимает до срока, и вновь возвращаются к ней
Её лёгкие крылья, её свет и пророчества узы,
И служение Богу до чьих-нибудь конченных дней.

И когда человек просит смерти у неба, то трижды
Ясный Ангел приходит и муки смягчает ему,
Лишь потом под доспехами прячет он белые крылья,
И уходит как Смерть, и приносит лишь душу к утру.

Без препинаний

Свободный как местоимение от тёплых и конкретных связей
Движенье совершает медленно набитый баксами бумажник
Между карманами и сумками над кассами и билетёрами
Он расплывается как дерево листвою осеннею купюрами
Свободная как безволосое чело от перхоти и прядей
Идёт девица гладкокожая все дни любой в году недели
Любовь и только занимает всё естество её но стольких
Она берёт и принимает что не конкретна нинасколько
Свободный ветром взгляда правленный язык метается в зубах
Качается и извивается с полуулыбки в полустрах
Но извергаемое месиво полузначений-полузвукон
Вмиг разлетается от ветра других таких полуязыков
А солнца блик дрожит тихонечко такой мгновенный
Сердце рвётся от незащитности немерянной
Но он свободе не даётся От солнца он вполне зависим
И от сложенья листьев в фигу Я так люблю его конкретно
Так бесконечно так прекрасно

Если б не было бы лета как писали бы поэты
Если б не было зимы что б описывали мы
В чередё сезонов каждый день метафорой обглодан
Втиснут в сонм словес бумажных переливов-перезвонов
Отразить словесно можно что угодно как угодно
Если выйдет благозвучно описание бесподобно
Слишком много слов даётся прямо в перья без напряжения
Можно сделать многотомник если выдержит бумага
Описаний разных в рифму можно и с глубокой мыслью
Так и строчит словно дышит пищет-пищет-пищет-пищет
Для поэта беспредельны филологии услуги
Можно слыть оригиналом и традицию почтить
Сколько входит новобранцев одинаковых стихами
Лет в пятнадцать и в двенадцать писчей славы раздобыть
Он добыл их кровью потом из словарного запаса
Небольшого что же делать всё же рифмой уложил
Описал свои страданья красоту есть стих о маме
Есть смешной как эпиграмма? что такое эпиграмма?
Всё равно ты молодец
А несчастные таланты если ловят звуки мира
Ритмы ветра сочетанья небанальные в себе
То такими же словами абсолютно тем же самым
Ямбом дактилем хореем их берутся отражать
Потому что даже в белом не стихе уже столетье
Тысячи пасутся разных добывателей стихов

Если ты рожаешь что-то никогда не обольщайся
Слово это универсум не один ты здесь таков

Качнулась занавеска ты увидел...
Немного между будущим и прошлым
Прошло мгновений кажется что вечность
Увидел что... достаточно ли света
И цвета фона даже не заметил...
Что не один был тот кто должен быть один
И не вдвоём... Какой ужасный дождь...
А что писал письмо бесшумно плача
Весь страшно содрогаясь от рыданий
Очень страшно... и весь в лице
Прекрасный от любви
И никакая эротическая сцена
Мне не заменит этого молчанья
И судорог прекрасного страданья
О Боже пусть она достойной будет
Нет не будет Любовь прекрасна
Если одинока любовь прекрасна
Если одинока любовь прекрасна
Если одинока и заклинанье не остановить

Завтрёньш

Хотя любовь моя, как мир, стара,
Но новизной своей пугает время.
Я путаюсь в ободранных «вчера»,
А «завтра» бешено вцепилось в темя.

Оно дерёт мне уши и глаза
Своей нестройной музыкой и цветом.
Как мне их убаюкать, как сказать,
Что дело дней моих совсем не в этом?

Ему, ужасному ребёнку, всё равно.
Не страх ли перед ним мне отравляет
Мгновенья сладкие, события дивные, кино
Воспоминаний, и узоры их марает?

И не затем ли буен его нрав,
Чтоб превратить в лохмотья мир вчерашний?
О, каюсь, что тогда я был не прав,
И лезу вновь в слоновой кости башню.

Когда сквозь эти крики и прыжки
Придёт сознание меры и значенья,
Когда в его весёлые зрачки
Всей вечностью своей заглянет время,

Тогда его, малютку плачущего, я
Укутаю, утешу, укачаю
Словами песен тех, чьих слов края
Царапали мне душу, замирая.

Лохмотья пригодятся. День умрёт,
И будет холодно. А плачущий ребёнок
Не знает, бедный, будет ли восход,
И плач его бессмысленен и тонок.

* * *

Когда от холода ноги ноют,
А трамвайные рельсы пустынной Сахары,
Когда голова подушку находит,
Позабыв про день и не видя кошмаров,

Когда различение хлопот и дней
Помимо идёт и сознания, и чувства,
Когда от самых любимых идей
Лишь смех остаётся, и всё безыскусно,

Когда нестерпимое «жду» исчезает,
Как блик на воде, от звучанья шагов,
Я знаю, как всё это здесь называют:
Любовь, ну конечно, конечно. Любовь.

И клоун смеяться больше не может
Наивным мотивам золотого века.
Ты и я — одно и то же.
Совершенно случайно — два человека.

Песни Селены

Первая

Мне душу терзает нелепый, мистический бред
О демоне грустном, издавшем на Бога проклятья
И развоплощённом — ни тела, ни имени нет,
Ни духа — он вечная рана, он пыточный склеп,
Его разорвали на звёзды и пыль от комет.
Он может ожить на секунду, украв сердца свет.

И вот расступилась таинственных зарослей сеть,
Открылась дорога к востоку, и, дня на исходе,
Я к вам прихожу, приношу виноватую тень,
А после бросаю её одуревшей природе.

Нам вместе горчит у камина сиянье свечей,
Рассудок туманит манящая близость минуты,
Что снова, опять и теперь откликается речь
На чувства, что в бедной груди моей были замкнуты,

И то настаёт, чему тщетно придумывать слог,
Но... стиль моих басен тебя убажает, я вижу,
И в свечном сиянье мы оба сожжём эту ночь,
И новый рассвет перед нами склонится пониже,

Чем перед росой, ибо блеск украшений её
Сиянием глаз мы затмим и лица безупречьем.
Мы встретимся после, чужими, но утром шальным
Мы будем так счастливы, как не бывают и дети.

Ему же, издавшему злые проклятия, мы
Любовь отдадим в негасимую пасть и, пустые,
Прольём свою глупую жизнь, как плохое вино,
Ты — в жёлтый песок, я — в волны седые морские.

И там они встретятся снова и будут, как встарь,
Ловить у согласия минуты в волненье приливов.
И я, даже Бога лишь Богом считавший, и ты —
Мы будем молиться Луне и качаться в отливах.

Вторая

Прости меня, прости, прости, прости меня! Неслышно отпусти —
В закатной розе дня день-вечер-ночь поймут, что ответ их — последний,
И в этом отсвете их счастье и значение отчаянье сотрут,
Они... Они поймут. Но судорог минут не облегчит сомненье,

Что сон с собой возьмут, тот самый, самый первый, и лоб не оботрут,
И не ослабят нервы, и умереть дадут... И никогда, наверно,
Ты не поймёшь уже, что умирать не важно, что это лишь смешно,
Так странно и нестрашно, что это — уходить от мира — но не от

Себя, хотя лишь этого и хочется, — но вот — опять к себе пришёл,
Себя исторгнув, вновь себя нашёл, как от дурного запаха, не деться
Никуда, вот разве в детство? Там хорошо... Но вырастешь опять,
И снова будет мир в тебя стрелять, и убивать, и труп давать как тело,

И с этим трупом-телом то и дело ты будешь чувствовать, что это ты и есть —
Сегодняшний, сейчастный, прямо здесь,

и прямо здесь любить ты должен это —
Всё окружение своё, и света ты не увидишь,
и облаву возненавидишь, и сердца
Как хорошую приметку — ты не услышишь... Так где же ты? Ну, где ты?

Апофеоз неспетый глухой, слепой, безвкусной немоты,
и наготы неосязаемой — и ты,
Ты думаешь, что можешь так себя назвать — «Я есть»?
А как ещё ему тебя позвать,
Ему, облаве — миру? По имени? По кличке?
По кумиру, забытому у сердца твоего,
Когда ты корчился предсмертный? Но кого она, желанная, опять тогда убила?

О Господи Мой Боже, что за сила всё возрождает мне меня, зачем?
Мои колени гнутся... Если чем Тебя я прогневил, прости, прости меня,
Неслышно отпусти... Но новый вечер дня опять вернёт душе моей меня,
И если то, что кажется любовью, для существования в подлунном мире,

То пусть твои — не знаю чьи —
глаза взглянут хоть раз навстречу с нею — мне,
И может быть, душа моя вдвойне поймёт тогда в совместном узнаванье,
Что сердце слышит ход Вселенной, и названье есть моему пути в мирах иных,
На языке другом, в садах чужих, где души вечные меня с любовью ждут,

А все стихи и жизни — сор минут, пылинки вечности, обрывок счастья...
Закрой глаза, закрой. И не печалься.

Третья

Из глубины души вздохнёт, идя по водам,
Тобою преданный восход, твоя свобода.
Средь суеты и толкотни, соблазнов, фальши,
Он вечно здесь, всегда один — уйдёт подальше
И тихо смотрит на тебя — спокойно, прямо.
Невыносимый этот взгляд, простой, упрямый.

А жизнь тебя пока жуёт, как пук соломы
В коровий медленный живот — вот все и дома!
Как тысячи судеб, твоя в одну сольётся,
И в жизни жирном животе перевернётся.
А взгляд останется — пока ты там, согласный
Стать капелькою молока в банальной басне.

Он выдернет тебя из всех, восход далёкий,
Пока ты будешь свирепеть, что одинокий,
И вновь проситься в теплоту всеобщей воню,
Он молча скажет: «Суету и всё, что кроме,
Души твоей — ты можешь брать всегда и всюду,
Но тела нежную соплю хранить не буду,

Но боль идёт к тебе впритык за чувством счастья,
Из неслышанных молитв придут прощаться
Твои любимые — а ты и не заметишь.
Их облики озарены в моём лишь свете.
В моём лишь свете ты бы смог увидеть небо
И звёзд пылающих чертог — сквозь щёлки века,

И сквозь ладони в тишине услышать звуки —
Они всегда живут в тебе, сквозь сны и муки.
Но ты узнать их никогда уже не сможешь
Всеобщей банкой молока, похожей рожей.
Души исполненный полёт не повторится,
Восход тебя не сбережёт в безличных лицах.

Ты должен сам себя найти, пусть это больно.
Я буду свет в твоём пути. И всё, довольно».
Так странно голос замолчал, как будто не был.
Его не слышать — так легко, так безмятежно,
И взгляд не чувствовать спиной — чужой, далёкий.
Идти ли мне на голос твой, столь одинокий?

Изысканно обставленный стол

Эссе

Стол был сервирован. То, как это было сделано, наводило на мысли. И почти сразу же — на физиологические реакции. Слюнки, действительно, текли. Только воспитанность их обладателей не позволяла проследить процесс их вытекания и дальнейшую судьбу. Тоскливые вопросы типа: «Не нам ли это, Господи?» — увенчались, наконец, ответом — «Вам, вам», — и орда жаждущих в количестве пяти человек воссела. Приступление состоялось, и, приступив, воссевшие испытали странное, редкостное чувство полной блаженной беззаботности. Думать не только не хотелось, но и не могло. Действие внесения, разжёвывания и проглатывания заняло всё существо участников, и мифологические мотивы уже рождались как хвалебная песнь благодарности миру. «Хлеб и вино», — мычал один, трудясь над бифштексом. «И дано им будет», — отрывал второй. Никто не осквернил себя логическим либо разумным вопросом, все предпочитали словесную благодарность без поиска причин. Когда же невозможно более было продолжать, люди ушли. Ибо ничего, кроме стола, вокруг и вблизи не было. Вечером, по понятным причинам, они явились снова, чуть смущённо приветствуя друг друга. Но стола не было.

В дальнейшем это стало ритуалом — приходить и, не находя, рассуждать о том, ЧТО было. Друзья не верили. Поэтому вера ценилась дороже всего. Вскоре сформировалось общество. На вступительные взносы организовывались столы, за которыми обсуждались возможности повторного чуда. Стал выходить научный сборник. Ученикам воздали, называя апо-столами, или «восставшими от стола». Каждый из них, в зависимости от личных наклонностей, предавался либо поэтическим воспоминаниям, либо научным исследованием происшедшего. Статус избранных имел разительные последствия: один расстался с любовницей, другой наконец женился (на той, с кем расстался первый), обе апо-столицы очень, очень выгодно вышли замуж, а один стал идеологом общества (позже — движения). Спустя несколько лет именно он был известен как единственный из философов, сумевший увязать в своей системе необходимость восприятия сущности явления как чуда с продуктивным аспектом творческого аффекта статистически средней человеческой натуры. Именно эти исследования, большинство из которых были облечены в художественные образы, легли в основу монументального философского труда, который был единственной книгой, сохранившейся после Великой Катастрофы. Эта книга стала основой новой человеческой цивилизации.

Маша и медведи

Жил-был художник один. Домик имел... хотя нет, квартирку однокомнатную. Без обстоятельств места и времени можно было бы и обойтись, если бы при этом ткань повествования не превращалась бы в подобие крупноячеистой рыболовной сети. Художник рисовал картины (ведь художники, на самом деле, могут этого и не делать), возникавшие в его голове, и в самом грубом приближении перенося оные на холст, о чём — о грубости то есть — немало расстраивался. Вторым главным его расстройством — и утешением одновременно — была дочь Машенька, которой, ввиду художничьего одиночества, явно недоставало ласки и опеки, а также нежного родительского внимания. Выросла Машенька среди картин и холстов, ничуть не заботясь о том, правильно ли вырастать в подобной обстановке. Характер у неё оказался лёгкий, поэтому на участливые вопросы типа: «Где ж твоя мама, деточка?» отвечала спокойно и уверенно, что её никогда и не было. Если спрашивающий начинал сомневаться в таком положении дел, Машенька вежливо упорствовала: «А вот не было!», чем принуждала спрашивающих сдаться со всем своим любопытством.

Мама, разумеется, была, но Машенька её совсем не помнила, ибо родительница покинула своё дитя ещё во младенчестве на попечение отца, так как была человеком, максимально неприспособленным к выращиванию детей. С Машенькой долгое время нянчилась соседка и едва не полюбила её как родную, но из-за всяческих обменов жилплощадью среди её родни выехала на жительство в другой город, откуда на праздники писала длинные обстоятельные письма. Отец читать их не мог, запутываясь в самом начале в родственных связях и биографиях соседкиной родни, поэтому Машенька, рано выучившись читать — серьёзной была девочкой — медленно вслух часто перечитывала эти письма, как нарочно написанные мелкими, почти печатными буквами. Сообщения в письмах напоминали Машеньке волшебные сказки, ведь большинство описываемых в них событий были для неё тайной за семью печатями. Например — «они сыграли свадьбу». Или — «Светка бросила своего мужа». Свадьба представлялась Машеньке важной и сложной игрой с участием многих игроков и двумя «водящими» — женихом и невестой. Брошенный муж соединялся в её сознании со старой, выброшенной на помойку игрушкой, над которой нарядная, как новая кукла, Светка злорадно смеётся. Отец всех сложностей, встречавшихся в письмах, объяснить не мог. При каждом машенькином вопросе он как бы замирал, надолго задумывался, собирался с мыслями, недоумевая, как же растолковать такому маленькому ребёнку такие сложные вещи. Слова для их объяснения сцеплялись с другими непонятными словами, те — со следующими, пока искомое понятие не начинало представать в его голове едва ли не величайшей тайной мироздания. Машенька терпеливо ждала, пока кончится у папы работа мозга и выдаст наконец какой-нибудь результат, и, не дождавшись, уходила заниматься своими ребячоночьими делами. Художничья же мысль неслась, неслась, далеко и невозвратно уже отрываясь от первоначального предмета, захлёбываясь в ассоциациях, двоясь и противоречась. В итоге художник один хватался за кисти и

судорожно рисовал на холсте вещи абсолютно, идеально конкретные, но представавшие в столь диких, несообразных и фантастичных сочетаниях друг с другом, что на предполагаемых позже зрителей изображение действовало почище самой крутой научной фантастики. В последний раз, например, на фоне розового неба до мельчайших прожилок был нарисован серый булыжник с тремя старческими человеческими глазами. Третий — посередине — был едва приоткрыт. Причём тоненькая розовая полоса у основания камня постоянно навязывала образ парящего булыжника, этакой зависшей в воздухе глыбы. Но — только намёком. Это было странно до страшности. А Машенька поневоле оказывалась, таким образом, музой-вдохновительницей художника одного, сияя всей своей детской музеей непосредственностью.

Её игры не были похожи на игры обычных детей. Машенькиными персонажами были герои нарисованных картин, которым она давала собственные имена. Если она спрашивала эти имена у папы, он опять замирал и начинал думать, и Машеньке казалось, что уж пусть бы он лучше и дальше себе рисовал, без вопросов. Иногда художник один пытался рисовать «специальные детские» картины, но у него ничего не получалось. Вышла только одна картина — портрет Машеньки с развевающимися по всему небу волосами и без ног — её любимое платье сразу выросло из земли, и Машенька была даже похожа на гору.

Иногда Машенька требовала нарисовать портрет мамы. Несмотря на уверенность в её несуществовании, она временами придумывала себе маму, как придумывают наряды для бумажных кукол. Художник один очень пугался таких машенькиных просьб, и даже уже не задумывался с ответом, а собирался быстро идти за кефиром, или к соседям на второй этаж, или чистить ботинки на лестницу отсутствующим в доме кремом для обуви, умоляюще объясняя Машеньке, что вот же надо же срочно же сделать, (а не...). Машенька разочарованно замолкала. В безбрежном море отцовской фантазии ей требовалась какая-то, ну хоть какая-то определённая, и иногда она говорила художнику одному, показывая на какой-нибудь диковинный цветок (?): «Ведь это ромашка? И луг? Да?» Художник один опять пугался — он патологически не умел врать или даже умалчивать, и ужасно неловко «уходил от ответа».

Однажды Машенька взялась за дело сама. Поставила холст на мольберт, размазала по всей палитре засохшие краски и крайне старательно нарисовала папу — его бороду, глаза, свитер и даже туфли. Получилось совсем непохоже, но Машенька так упарилась с этой трудоёмкой работой, что поневоле была очень горда достигнутым результатом. Когда папа пришёл домой, он долго и раскатисто хохотал, увидев её произведение, а потом спросил: «Кто это?» Вот тут Машенька обиделась всерьёз. Она встала, отряхнула платице и с прямой спиной, оттопырив пальчики — и кто учил? — вышла в кухню, чинно села за стол и начала сосредоточенно пить чай. Сколько ни заговаривал с ней художник один, чувствуя вину позже, чем требовалось ввиду отсутствия педагогических способностей, Машенька только синхронно отворачивалась от него, как будто на её прямой спинке огромными буквами было написано: «Я обиделась». Прообиджавшись целый час, она наконец устала и совершенно как ни в чём не бывало явилась в комнату показать отцу какую-то вещицу и

притворно-безразлично отпросилась гулять во двор «с другими детьми». Отнесение себя к «детям» Машенька всегда воспринимала как-то подозрительно.

Когда Машенька вышла во двор, было яркое солнце, всё лучилось и пело, кроме, пожалуй, детей. Машенька храбро ринулась в их пищащую и возящуюся друг с другом толпу. Она даже попыталась вникнуть в их проблемы, но — увы! — обладатель розовой лопатки для песка не вызывал у неё никаких симпатий, как и обладательница синего ведёрка. Когда с неё попытались сорвать её старательно завязанный на макушке бант, она с минуту следила за действиями агрессора, а потом молча стукнула его кулаком по руке. Тот с рёвом убежал к бабушке, а Машенька, решив, что ничего более интересного в этом скопище детей уже не будет, вылезла из песочницы, миновала границы детской площадки и столкнулась с огромными кустовыми зарослями. Проблуждав в них долго-долго-долго, она уж собиралась расплакаться ввиду всех этих блуждений, как наконец вышла на какую-то асфальтовую дорожку, и так уже обрадовалась, что не оглядываясь шла по ней опять долго-долго и долго.

Наконец Машенька оказалась перед огромной, очень красивой изгородью, окружавшей парк и дом в его глубине, — таких красивых домов она никогда не видела, даже не предполагала, что они существуют на самом деле, а не на картинках в сказочных книжках. Невдалеке, заслонённые зелёными зарослями, очень сильно ругались какие-то дяди, похожие на медведей — приземистые, с низкими голосами, одинаково одетые. Вначале Машенька решила, что они иностранцы, но вскоре поняла, что нет, не иностранцы, хотя они густо использовали слова, значения которых Машенька не знала, но знала, что они «нехорошие». Медведи куда-то сильно спешили и вскоре уехали на взрепевших медвежьим рёвом машинах. Она осталась одна рядом с волшебным домом. Как она могла не посмотреть на него как следует? Поистине, удержаться было невозможно.

Пролезая между прутьями изгороди, Машенька ещё думала, что папа, наверное, был бы недоволен её поведением, но вскоре и об этом думать перестала. Рядом находился решётчатый вольер, в котором, увидев Машеньку, почему-то бесшумно забились две собаки, кидаясь на клетку и истекая слюной от ярости. Но Машенька даже забыла испугаться, потому что собаки — если это были они — были такие диковинные, наверняка они были волшебные, не бывает таких собак, и почему они не лают? Волшебные звери при входе в замок доброго волшебника. И уже совсем храбро Машенька поднялась по ступеням и потянула за ручку высокой двери, ничуть не удивившись, что та отворилась.

Здесь всё-таки жили люди, но это был дворец. В нём оказалось всё, о чём Машенька читала в сказках — попугай в золотой клетке, журчащий фонтан со скульптурами разных барышень, камин с дровами, роскошные ковры и люстра... Она даже запрыгала от радости, что не испугалась войти. Зайдя в одну из комнат, она увидела огромный стол с тяжёлой даже на вид настольной лампой, огромное чёрное кресло, шкафы, полные книг. Попытавшись усестись за стол, она просто замучилась — настолько всё это было ей не по росту. В другой комнате стояла огромная кровать, застеленная настоящей шкурой, наверное, барса, огромное зеркало-трельяж. Как ни отважна была

Машенька, она не рискнула забраться на кровать и только долго гляделась в створки зеркала, которое было таким огромным, что Машенька видела себя в самом низу и только по плечи. Поднявшись на верхний этаж по галерее с картинами, вдоль которых Машенька шла с доверчиво открытым ртом, она открыла одну из дверей и вдруг оказалась в солнечной комнате с маленькой разноцветной мебелью, детскими рисунками на стенах и рядами игрушек в шкафчиках и на полках. Это было так неожиданно и сказочно, что Машенька ахнула и остановилась. Естественно, она тут же решила, что добрый волшебник приготовил всё это специально для неё — а как же иначе? Добрые волшебники только так и поступают.

Машенька как раз рассматривала а-громадную книгу с картинками, такую огромную, что переворачивать страницы было сущим мучением, когда за окном снова послышался медвежий рёв моторов и страшная ругань по поводу незапертой двери. Видимо, медведи как-то определили, что в доме незваный гость, потому что послышался лязг открываемой в саду клетки. Через минуту хрипящие от ярости волшебные звери ворвались в маленькую комнату на втором этаже, раздирая книгу, платье, Ма... Нет, пожалуй, здесь автор и обрежет ткань своего повествования, скатает её в рулончик и оставит как есть, добавив только одно: художник один, так и не найдя никогда своей девочки, ни минуты не сомневался, что на самом-то деле она жива. У медведей был большой опыт по сокрытию всяческих следов. Почти волшебный.

Про странство

Между стеной дома и рельсами находилось пространство, заваленное камнями и, находясь, молчало и ничем не выдавало присутствия живого существа — большой чёрной собаки с блестящей шерстью, шерстью густой, блистающими во тьме глазами, которые сейчас были закрыты, и большим пушистым хвостом, похожим на лисий. Она старательно свернулась клубком и спала, вздрагивая от грохота, потому что каждые полчаса мимо проносились товарные поезда, прочёркивая своей бегущей тенью стену старого кирпичного дома, освещаемого единственным смутным фонарём. Но это длилось всего лишь мгновенье, ибо маленький грязный оборвыш уже запустил обломком кирпича в фонарь, и обломок летел напрямую к незащитному сияющему стеклу, а собака досматривала свой последний сон, полный звуков, грохота и запахов помоек. Когда фонарь погас, ночь окончательно лишилась чувств, ведь за её спиной голубизной по краю, венами чёрного неба проступал рассвет, и маленький наглый оборвыш понял, что пора опуститься на землю и свернуться таким же клубком, как и большая чёрная собака, и прижаться к ней изо всех сил, вцепиться пальцами, уткнуться лицом и опустошить свою голову от груза прошедших суток. Но собаки, большой и чёрной, уже не было, и на миг пригрезившееся тёплое блаженство лопнуло, погрязло в грохоте очередного поезда, и мальчику пришлось обнимать руками грудь тёплого ещё от лежавшей на ней собаки тряпья,

и вот он уже шёл по большому проспекту, залитому солнцем, засыпанному пылью и лепестками цветущих деревьев, и лепестки путались в его волосах и прилипали к босым подошвам, и падали на огромную чёрную собаку, которую он вёл на поводке,

вернее, на ржавой железной цепи, вернее, это была не цепь, нет, а огромный железный засов на огромных воротах, простиравшихся так высоко вверх, что нельзя было найти точки, где кончались ворота и начиналось небо. Небо и не могло начаться, потому что оно было чёрным,

всё было чёрным, удивительно, откуда он знал, что это были ворота, ведь в темноте ничего не видно, и не небо было наверху, потому что там не было звёзд, просто он куда-то падал вниз головой, очень медленно, а вслед ему, всё ближе и ближе, несло что-то огромное и страшное с невыносимым лязгом. Наверно, это собака, облепленная лепестками, бежала за ним, царапая когтями по ржавому железу той бездны, куда он падал.

Он поднимал веки и видел свет и одуванчик, растущий прямо у него под носом, и не верил, что он его видел, и сам казался себе одуванчиком, но потом видел стену и понимал, что одуванчики не знают слова «стена», и в следующее мгновенье сияющая реальность жизни обрушивалась на него. Он чувствовал себя таким же протяжённым, как рельсы, параллельно которым растянулся, и не знал, где кончаются его ноги и куда повернуто его лицо, и только потом, через мучительную бесконечность вселенского покоя, его настигал холод, и грохот, и голод, и воспоминание о сне, и большая чёрная собака обнюхивала его спину и тыкалась носом в кудри, и надо было вставать, ведь отвратительная яркость солнца уже стала привычной, и привычен то-

варняк, сотрясающий стену дома, рельсы, землю и плоть двух существ, на ней лежащих, одно из которых умело называть другое по имени.

Всё это было бы так, если бы оборвыш не был нагл, и обломок кирпича, летящий в незащитное сияние фонаря, не возвещал миру о конце детства и начале тёмной эры, потому что маленький оборвыш не попал в фонарь, и обломок отскочил от стены и ударился резко об землю, а второй, брошенный в том же направлении, попал в большую чёрную собаку, свернувшуюся клубком, и она взвыла и залаяла на оборвыша, потом зарычала, и на левом боку расплывалось липкое пятно, абсолютно невидимое в темноте, но оно было, и собака рычала, наступая на оборвыша, и в тот момент, когда его ярость, воплощённая в сжавшихся кулаках и перекошенном лице, переломилась как тонкая соломинка и стала испугом, в тот самый момент собака кинулась на него и стала кусать, царапать и грызть, и мальчик, чтобы избавиться от нестерпимого ужаса происходящего, попытался бежать, или повернуться спиной, или крикнуть, но ничего из этого не получилось,

потому что он мог видеть только чёрное небо, и свет, пробивающийся откуда-то снизу, с земли, едва освещал медленно падающие лепестки, которые всё увеличивались и увеличивались, становились листьями, птицами, оглушительно кричащими ему прямо в уши, и если бы он мог что-то почувствовать, он бы отвернулся от них, но он мог только смотреть, и он смотрел, как стена старого кирпичного дома падает на него, бесконечно медленно и бесконечно грозно. Собака пропала, она покинула его навсегда, и тот ужас от её приближающейся ненависти казался присутствием всему окружающему пространству.

Ничего не было, кроме страха, оставшегося, как водоросли от прилива, на пространстве между рельсами и стеной дома, и страх затоплял его, по-прежнему молчащее и не открывающее присутствия живого существа, содрогавшегося в самой его сердцевине от... от... от грохота проходящего мимо товарного поезда, освещаемого светом бесполезно сияющего фонаря.

Г камеруна

Х розова

* * *

А жизнь была безвидна и пуста,
Как в первый день земного сотворенья.
Для песен были сомкнуты уста,
Но мысли ждали, ждали воплощенья.

Их удержать в себе не смог архив:
Они тревожно слишком певелились,
Но ветерка колючего порыв —
И на бумагу линией излились.

* * *

За всё предчувствую расплату —
За каждый шаг, за каждый вздох,
За незамеченные даты,
За хаос и переполох.

Но, принимая боль утраты,
Расту, как сорная трава,
За нрав живучий — виновата,
Но этой же виной права!

* * *

Наступит вновь безветренное утро,
Разрежет воздух дождь наискосок,
И вспомнится эсхилловская мудрость:
«Навеки будет зеленеть росток».

Я с нею позабуду день вчерашний,
Он заживёт, оставив только шрам,
И всё, что мне тогда казалось страшным,
Во власть насмешки горькой передам.

* * *

Неважно, что Вы — не из этих столетий,
Что струны и раны друг друга вбирают.
Вы — Скрипка единственная на свете
Из пепла утрат... До предсердий живая!

Вы сотканы музыкой, созданы светом,
Вы — трепетность крыл, синеву бороздящих,
Судьба Ваша — быть до конца не воспетой,
По тонкому льду всех эпох проходящей.

* * *

Не схемой, но откровеньем
Душа моя жить хотела,
Лишь после орбит забвенья
Она, наконец, прозрела.

И словно из вод потопа
Тихо вышла наружу,
Услышала мягкий шёпот:
Это были другие души.

* * *

Сегодня мне так было одиноко,
Что в окнах свет не радовал чужих,
Воспоминанье острою осокой
Ссаднило душу... Чтобы каждый штрих
Былого оживал передо мною.
И дом родной, однажды погребённый,
Я мысленными мерила шагами,
Я целовала пол неподметённый
Обветренными жёсткими губами,
Догадываясь: здесь не ждать покоя.
Семь бесконечных лет я с ним прощалась,
На улице менялся снег на слякоть.
Во мне настолько накопилась жалость,
Что даже не смогла его оплакать —
Он мёртв и одинок перед судьбою.

* * *

То казаться порой нелюдимым,
Неприкаянным, странным и жутким,
То искать безгранично любимых,
Припадая к мыслям их чутко.

То свечою в бутылке пылиться,
То сгорать ради капелек света,
Быть нескладной для всех небылицей,
Такова, видно, участь поэта.

* * *

Уходят люди. А ступени стонут
Под быстрыми и лёгкими шагами,
И, кажется, их отнимает омут
С чужими, порознь прожитыми днями.
Уходят люди. Остаются вещи,
Как рассечённых отношений память,
Их вид так обречённо-безутешен
С невыступившими ещё слезами
И к сердцу прикипевшими чертами
Когда-то близких, с кем уже не быть,
Не выдержавших ритм одной судьбы.

* * *

Шёл по земле немногословный дождь,
На ощупь он волос моих касался
И каждым стебелёчком любовался
Так робко, что и слов не разберёшь.

А в лужах копошились воробьи,
Взъерошенные тёплые комочки,
И на губах уже столпились строчки,
На слух ещё как будто не мои.

* * *

Эту муку, данную свыше,
Ни одна рука не отнимет,
Ни одни глаза не поймут.
Это — крепче земных желаний,
Неотступней воспоминаний,
Что окраины солнца жгут.

Это — пыльных столетий порох,
И судьбы отсыревший порох,
И агонии долгий стон.
Но бескровных бессонниц стаю
Я вовеки не променяю
На привычный спокойный сон.

* * *

Я боюсь не дойти и упасть в преддверии света,
Не успеть самым близким всё до конца рассказать,
Бережёт только то, что не верю в дурные приметы,
И на самые лучшие тоже не мне уповать.

Бережёт только то, что хочу научиться прощению
Непривычному, просто слепому и наперёд,
Беспощадно щекочут ладони часы и мгновенья —
Так сжимается время и выхода мне не даёт.

Бережёт только то, что, упав, я пытаюсь подняться,
Только то, что не стала ещё застывшим цементом,
Правда, этого мало, чтоб милости свыше дожждаться,
Я боюсь не дойти и упасть в преддверии света.

* * *

Январское утро. Суббота.
На улице сухо, свежо.
По телу сквозила дремота,
Усталость, озноба ожог.

Часы превращались в мгновенья,
Слова — в сумасшедшую вязь,
Но после ночных откровений
Мне замертво только упасть.

А кухня уже оживает
И тёмный шумит коридор.
Ахматову кто-то читает
И ласково смотрит в упор.

Душа ещё звуки вбирает,
Но тело бессильно лежит,
А солнце лучи проливает,
Чтоб день на пределе прожить.

* * *

Я с музою живу на ощупь,
Разрезав дней тяжёлый сплав.
Что может быть родней и проще,
Чем жить, к ней намертво припав?

Звук разрывающейся пули,
Изъявшей жизни естество,
Но, если дар в тебя вдохнули,
Попробуй выдохнуть его.

Гиб



* * *

...А любовь стала данностью, словом
Сказанным, нотой пропетой,
Панацеей, разменной монетой,
Сквозь сочилась водою талой,
И била в набат, и била фонтаном.
Ею грели и ею крыли,
Гнули шеи, ставили крылья,
Раздавали большим и малым,
Перетягивали одеялом.
Стала явью, правила бытом,
Косила дворцы, святила корыта,
Во имя по мостовым расстилалась
И Стала Всем... а любви не осталось...

* * *

Взгляда — по взгляду,
По коже — рук,
Тупой иглою
Сквозь ткань разлук,
Тоска.
Ломая кости,
Теряя цепи,
Рваться к любви,
Что, как Солнце, слепит
Глаза,
И упираться,
Себе не веря,
В необратимую боль потери
— Нельзя...

Война

Вот и всё, что нам досталось:
Серебро усталой стали,
Пыль оставленных проталин,
Роза мира, пепел розы,
Расплавы стали в гладких складках...
Вот и всё, что нам осталось...

* * *

Графически — чёткая,
Белым по чёрному
Анестезия зимы.
Стихов и слов замороченных
Слагаю с себя полномочия,
Беру снег — взамен и займы.

* * *

Грязной тряпкой, кожей дряблой,
Ужасным взглядом глаз красных,
Да вот он каков — мой мир,
Без прикрас — прекрасный:
Белой патокою церковей разбрызганный
В свежую зелень,
И среди серых стен, душ, крыш удушливо
Кашляет моя муза,
И щебечет базаром птичьим
В её крови ВИЧ.
В ликах икон,
Писанных золотом слёз или снов,
В лицах незнакомых прохожих.
И один, ненароком в пути,
Вот те Бог, вот — порог.
Что ж, уйду,
А если наскучит идти,
Вот запястья мои —
Перекрёстками синих дорог...

* * *

Извечный архетип печали —
Развалины, их каменный остов
Глядит разверстыми очами,
И запах тления слит с запахом цветов.

Танцует пыль на солнце над дорожкой,
А я сижу на тёплом кирпиче,
Шуршит трава, и мягкой, серой кошкой
Спит будущее на моём плече.

Кораблик

Где же, где кораблик мой причалит,
Соткан из упрямства и тоски,
Носит ветер по волнам печали
Сумрачные души-лепестки.

Льётся в море лунная дорога,
Тянет одиночество ко дну.
Звёзд на небе бесконечно много,
Уроните в руки мне одну.

Где же, где безветренная пристань —
Сосны подпирают облака,
То как небо вдруг маняще близко,
Но так же безнадёжно далека.

Я, как все, когда-нибудь устану
Спорить с беспросветностью пути.
Не умру, но быть лишь перестану.
Волны воют, ветер шелестит...

* * *

Любовь моя, занимается утро —
Шалым, матовым, алым
В искро-звёздную синь
Цвет неба тёмн и путан,
Как рассветный сон — перезвон
Первых капель росы.

Любовь моя, поднимается ветер,
Вянут травы, устало листьями
Вдрагивают деревья — быть грозе,
Быть беде, быть вместе,
Да и быть ли совсем...
Скажи, о чём твои песни?

Любовь моя, всё заполнилось днём,
Столько солнца, что больно смотреть,
И ты говоришь, рядом пойдём
Отныне, покуда смерть...
Но знаешь, мне кажется,
Смерти нет, покуда
Разъятые, разноязыкие — об одном будем петь,
На двоих сберегая иллюзию чуда.

* * *

Маленький обтаявший кусочек сыра —
— Луны —
На тёмном блюде небосвода,
Иголки звёзд: там, за облаками.
Наверно, будет завтра ясная погода...

* * *

Мне бы стать усталою и мудрой
И уйти июльским тёплым утром,
Чтоб душой растечься по рассвету,
Тело ж закопали б в лето.

Каждый день, чтобы быть хорошим,
Должен быть на полочки сложен,
Каждой мысли дано будет время,
Каждому плечу — своё бремя.

Все имеют право на жизнь,
Только б смерть успеть заслужить —
Остановиться у края дороги
И без радости, и без тревоги.

Мне бы стать усталою и мудрой
И уйти июльским тёплым утром,
Чтоб душой растечься по рассвету,
Тело ж закопали б в лето.

Мне нравится

Я полагаю, мне нравится,
Когда что-либо предполагается,
Не чёрно-белые исключено или естественно,
А так, чтоб был шанс избежать ответственности.
Ещё наблюдать мне нравится
Сквозь рыжие искры ресниц,
Как возлюбленный мой просыпается
От пения первых птиц.
И когда глаза улыбаются,
Аннулирую серьёзность лица,
И как с первого жеста влюбляются,
И заведомо, и до конца
За глаза всё прощается.
Я люблю светлоглазых юношей,
И печальных нездешних девушек,
Словно сотканных из эфира,
И в осколках угадывать будущее,
И засыпать, убаюканной бережно,
На ладонях огромного мира.

* * *

Мы только дети в призрачном лесу.
Закат осыпал искры на ресницы.
Цвет глаз не знаю, помню родинку на левом.
В дымном небе крыло в крыло
Летят две чёрных птицы.
Я успела.
На потемневшем побережье те же замки —
Когда придёт волна, нас будет двое
На демаркационной линии прибоя.
На перевале из сегодня в завтра
Страховочные тросы не спасут.
Мы только дети в плачущем лесу.

* * *

На мир ложится ночь,
Я с шелестом роняю одеяло,
И холодно, и надо перевозмочь,
Но сил так мало, мало...

* * *

Не хватит всех каминов, чтоб согреться,
Чтоб приютить, не хватит всех домов,
Всех лиц не хватит, чтобы наглядеться,
Не хватит всех, а нет ни одного...

* * *

Не юное и не дитя любви —
Так поздно я протягиваю руки.
Уже ушла по млечному пути
Душа моей души, влюблённая в разлуки.

Раскинувшись, в полях лежать,
Вокруг чужих страстей снаряды рвутся,
Но если ты найдёшь, куда бежать,
Ты можешь не найти, куда вернуться.

* * *

Птицы, травы, день без ночи,
Глазам с глазами не расстаться,
И я могу всё, что захочешь,
Даже — видишь — улыбаться.

Утром в тумане город тает,
Букет сирени брошен в слякоть.
Слушай, а хочешь большую тайну:
Я только что научилась плакать.

* * *

Ты веришь, за облаком тёмных лесов,
Топя отраженье в воде,
Серебряный зверь в предрассветной траве,
Приходит порой из нигде.

Пусть эта ночь дробится на капли,
О грань обескровленных мыслей,
Ведь зло не только во тьме, не так ли,
Шаг с девятого ввысь ли?

Руку мне дай и в мерцающих платьях,
Бежим, от лёгкости холодея,
По переходам из жёлтых пятен,
На листьях сонных деревьев.

А ночь вдруг — океан бескрайний,
Но если ход времени будет нарушен,
На лунные пляжи неясных желаний
Унеси эту странную душу

* * *

Ты так любила цвета утра и ночи:
чёрный, белый, синий,
И запах осени — медового пятна,
О, милая, да многого ли ты просила —
Лишь подпрыгнуть и дотянуться с тобою
до дна
окна.

Я учусь

Я учусь — томной грации у берёз,
У водоворотов — изгибу кос.
Я — алхимик, серебро слов
Превращающий в золото фраз,
Несказанных.
Я учусь вовремя уходить,
От жизни, или из грёз,
И парой слов,
Будто и не всерьёз,
Бусину души выплюнуть
Вам на настил, на поднос —
Авось не сожрётся...